

Михаил Лермонтов~Белла Ахмадулина~Омар Хайям~Владимир Высоцкий~

Александр Пушкин~Шарль Бодлер~Юрий Визбор

Анна Ахматова~Уильям Шекспир~Евгений Емтушенко~Вероника Тушнова~

ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ

Белла Ахмадулина



Прощай, любить
не обязуешь

Федерико Гарсиа Лорка~Роберт Рождественский

Белла Ахатовна Ахмадулина
Прощай, любить не обязуйся
Серия «Золотая коллекция поэзии»

текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=48771560

Белла Ахмадулина. Прощай, любить не обязуйся: Эксмо; Москва; 2019

ISBN 978-5-04-098863-1

Аннотация

Чуткость Беллы Ахмадулиной к звуку, музыкальность ее стихов были замечены с первых сборников (этому соответствовали и названия «Струна», «Уроки музыки»). Ее стихи узнаваемы с одной строки благодаря оригинальности поэтических образов, своеобразию лексики и синтаксиса, индивидуальной интонации. Стихам Ахмадулиной присущ особый распев, они во многом ориентированы на звучание, не случайно некоторые из них стали известными песнями. Музыка и поэзия – две родственно близкие стихии – живут нераздельно в ее стихах.

Содержание

Моя родословная	6
Новая тетрадь	40
Грузинских женщин имена	41
Не уделяй мне много времени...	43
Снегурочка	44
Живут на улице Песчаной...	46
По улице моей который год...	48
*** ...	50
Нежность	52
Несмеяна	55
Мотороллер	57
Влечёт меня старинный слог...	59
Светофоры	61
СНЫ о Грузии	63
Свеча	64
Магнитофон	65
Прощание	68
Пейзаж	69
Зима	70
Случилось так, что двадцати семи...	72
Тоска по Лермонтову	74
Зимняя замкнутость	78
Ночь	82

Слово	85
Немота	87
Сумерки	89
Уроки музыки	92
Четверть века, Марина, тому...	94
Биографическая справка	96
Клянусь	99
Снегопад	102
Метель	104
Конец ознакомительного фрагмента.	105

Белла Ахмадулина

Прощай, любить не обязуйся

© Ахмадулина Б. А., наследники, 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Моя родословная

Вычисляя свою родословную, я не имела в виду сосредоточить внимание читателя на долгих обстоятельствах именно моего возникновения в мире: это было бы слишком самоуверенной и несовременной попыткой. Я хотела, чтобы героем этой истории стал Человек, любой, еще не рожденный, но как – если бы это было возможно – страстно, нетерпеливо желающий жизни, истомленный ее счастливым предчувствием и острым морозом тревоги, что оно может не сбыться. От сколького он зависит в своей незащитности, этот еще не существующий ребёнок: от малой случайности и от великих военных трагедий, наносящих человечеству глубокую рану ущерба. Но все же он выиграет в этой борьбе, и сильная, горячая, вечно прекрасная Жизнь придет к нему и одарит его своим справедливым, несравненным благом.

Проверив это удачей моего рождения, ничем не отличающегося от всех других рождений, я обратилась благодарной памятью к реальным людям и событиям, от которых оно так или иначе зависело.

Девичья фамилия моей бабушки по материнской линии – Стопани – была привнесена в Россию итальянским шарманщиком, который положил начало роду, ставшему впоследствии совершенно русским, но все же прочно, во многих поколениях украшенному яркой чернотой волос и глубокой,

выпуклой теменью глаз. Родной брат бабушки, чье доброе влияние навсегда определило ее судьбу, Александр Митрофанович Стопани, стал известным революционером... Разумеется, эти стихи, упоминающие его имя, скажут о нём меньше, чем живые и точные воспоминания близких ему людей, из коих многие ныне здравствуют.

Дед моего отца, тяжко терпевший свое казанское сиротство в лихой и многотрудной бедности, именем своим объясняет простой секрет моей татарской фамилии.

Люди эти, познавшие испытания счастья и несчастья, допустившие к милому миру мои дыхание и зрение, представляются мне прекрасными – не больше и не меньше прекрасными, чем все люди, живущие и грядущие жить на белом свете, вершащие в нём непреклонное добро Труда, Свободы, Любви и Таланта.

1

...И я спала все прошлые века
светло и тихо в глубине природы.
В сырой земле, черней черновика,
души моей лишь намечались всходы.

Прекрасна мысль – их поливать водой!
Мой стебелёк, желающий прибавки,
вытягивать магнитную звездой —

поторопитесь, прадеды, прабабки!

Читатель милый, поиграй со мной!
Мы два столетья вспомним в этих играх.
Представь себе: стоит к тебе спиной
мой дальний предок, непреклонный Игрек.

Лицо его пустынно, как пустырь,
не улыбнется, слова не проронит.
Всех сыновей он по миру пустил,
и дочери он монастырь пророчит.

Я говорю ему:
– Старик дурной!
Твой лютый гнев чья доброта поправит?
Я б разминуться предпочла с тобой,
но все ж ты мне в какой-то мере прадед.

В унылой келье дочь губить не смей!
Ведь, если ты не сжалишься над нею,
как много жизней сгинет вместе с ней,
и я тогда родиться не сумею!

Он удивлен и говорит:
– Чур, чур!

Ты кто?
Рассейся, слабая туманность! —
Я говорю:

– Я – нечто.

Я – чуть-чуть,

грядущей жизни маленькая малость.

И нет меня. Но как хочу я быть!

Дождусь ли дня, когда мой первый возглас

опустошит гортань, чтоб пригубить,

о Жизнь, твой острый, бьющий в ноздри воздух?

Возражение Игрека:

– Не дождешься, шиш! И в том

я клянусь кривым котом,

приоткрывшим глаз зловещий,

худобой вороны вещей,

крылья вскинувшей крестом,

жабой, в тине разомлевшей,

смертью, тело одолевшей,

белизной ее белейшей

на кладбище роковом.

(Примечание автора:

Между прочим, я дождусь,

в чём торжественно клянусь
жизнью вечной, влагой вешней,
каждой веточкой расцветшей,
зверем, деревом, жуком
и высоким животом
той прекрасной, первой встречной,
женщины добросердечной,
полной тайны бесконечной,
и красавицы притом.)

– Помолчи. Я – вечный Игрек.
Безрассудна речь твоя,
Пусть я изверг, пусть я ирод,
я-то – есть, а нет – тебя.
И не будет! Как не будет
с дочерью моей греха.
Как усопших не разбудит
восклицанье петуха.
Холод мой твой пыл остудит.
Не бывать тебе! Ха – ха.

2

Каков мерзавец! Пусть он держит речь.
Нет полномочий у его злодейства,
чтоб тесноту природы убересть

от новизны грядущего младенца.

Пускай договорит он до конца,
простак недобрый, так и не прознавший,
что уж слетают с отчего крыльца
два локотка, два крылышка прозрачных.

Ах, итальянка, девочка, пра-пра —
прабабушка! Неправедны, да правы
поправшие все правила добра,
любви твоей, проступки и забавы.

Поникни удрученной головой!
Поверь лгуну! Не промедляй сомненья!
Не он, а я, я – искуситель твой,
затем, что алчу я возникновенья.

Спаси меня! Не плачь и не тяни!
Отдай себя на эту злую милость!
Отсутствуя в таинственной тени,
небытием моим я утомилась.

И там, в моей до-жизни неживой,
смертельного я натерпелась страху,
пока тебя учил родитель твой:
«Не смей! Не знай!» – ипощекам с размаху.

На волоске вишу! А вдруг тверда
окажется науки той твердыня?

И все. Привет. Не быть мне ни-ко-гда.
Но, милая, ты знала, что творила,

когда в окно, в темно, в полночный сад
ты канула давно, неосторожно.
А он – так глуп, так мил и так усат,
что, право, невозможно... невозможно...

Благословляю в райском том саду
и деревá, и яблоки, и змия,
и ту беду, бог весть в каком году,
и грешницу по имени Мария.

Да здравствует твой слабый, чистый след
и дальновидный подвиг той ошибки!
Вернется через полтора года лет
к моим губам прилив твоей улыбки.

Но беговым суровым облакам
не жалуйся! Вот вырастет твой мальчик —
наплачешься. Он вступит в балаган.
Он обезьяну купит. Он – шарманщик.

Прощай же! Он прощается с тобой,
и я прощусь. Прости нас, итальянка!
Мне нравится шарманщик молодой.
и обезьянка не чужда таланта.

Песенка шарманщика:

В саду личинка
выжить старается.
Санта Лючия,
мне это нравится!

Горсточка мусора —
тяжесть кармана.
Здравствуйте, музыка
и обезьяна!

Милая Генуя
нянчила мальчика,
думала – гения,
вышло – шарманщика!

Если нас улица
петь обязала,
пой, моя умница,
пой, обезьяна!

Сколько народу!
Мы с тобой – невидаль.
Стража, как воду,
ловит нас неводом.

Добрые люди,
в гуще базарной,
ах, как вам любви
мы с обезьяной!

Хочется мускулам
в дали летящие
ринуться с музыкой,
спрятанной в ящике.

Ах, есть причина,
всему причина,
Са-а-нта-а Лю-у-чия,
Санта-а Люч-ия!

3

Уж я не знаю, что его влекло:
корысть, иль блажь, иль зов любви неблизкой —
но некогда в российское село —
ура, ура! – шут прибыл италийский.

(А кстати, хороша бы я была,
когда бы он не прибыл, не прокрался.
И солнцем ты, Италия, светла,

и морем ты, Италия, прекрасна.

Но, будь добра, шарманщику не снись,
так властен в нём зов твоего соблазна,
так влажен образ твой между ресниц.
что он – о, ужас! – в дальний путь собрался.

Не отпускай его, земля моя!
Будь он неладен, странник одержимый!
В конце концов он доведет меня,
что я рожусь вне родины родимой.

Еще мне только не хватало: ждать
себя так долго в нетях нелюдимых,
мужчин и женщин стольких утруждать
рождением предков, мне необходимых,

и не рождаться столько лет подряд, —
рожусь ли? – всё игра орла и решки, —
и вот непоправимо, невпопад,
в чужой земле, под звуки чуждой речи,

вдруг появиться для житья-бытья.
Спасибо. Нет. Мне не подходит это.
Во-первых, я – тогда уже не я,
что очень усложняет суть предмета.

Но, если б даже, чтобы стать не мной,
а кем-то, был мне гнусный пропуск выдан, —

всё ж не хочу свершить в земле иной
мой первый вздох и мой последний выдох.

Там и останусь, где душе моей
сушили жизнь, безжизньем истомили
и бросили на произвол теней
в домарксовом, нематерьяльном мире.

Но я шучу. Предупредить решусь:
отвергнув бремя немощи досадной,
во что бы то ни стало я рожусь
в своей земле, в апреле, в день десятый.)

...Итак, сто двадцать восемь лет назад
в России остается мой шарманщик.

4

Одновременно нужен азиат,
что нищенствует где-то и шаманит.

Он пригодится только через век.
Пока ж – пускай он по задворкам ходит,
старьё берёт или вершит набег,
пускай вообще он делает, что хочет.

Он в узкоглазом племени своем
так узкоглаз, что все давались диву,
когда он шел, черно кося зрачком,
большой ноздрей принохиваясь к дыму.

Он нищ и гол, а всё ж ему хвала!
Он сыт ничем, живет нигде, но рядом —
его меньшей сынок Ахмадулла,
как солнышком, сияет желтым задом.

Сияй, играй, мой друг Ахмадулла,
расти скорей, гляди продолговато.
А дальше так пойдут твои дела:
твой сын Валея будет отцом Ахата.

Ахатовной мне быть наверняка,
явиться в мир, как с привязи сорваться,
и усеченной полумглой зрачка
все ж выразить открытый взор славянства.

Вольное изложение татарской песни:

Мне скакать, мне в степи озираться,
разорять караваны во мгле.
Незапамятный дух азиатства
тяжело колобродит во мне.

Мы в костре угольки шуровали.
Как врага, я ловил ее в плен.
Как тесно облекли шаровары
золотые мечети колен!

Быстроту этих глаз, чуть косивших,
я, как птиц, целовал на лету.
Семью семь ее черных косичек
обратил я в одну темноту.

В поле – пахарь, а в воинстве – воин
будет тот, в ком воскреснет мой прах.
Средь живых – прав навеки, кто волен,
среди умерших – бессмертен, кто прав.

Эге-гей! Эта жизнь неизбывна!
Как свежо мне в ее ширине!
И ликует, и свищет зазывно,
и трясет бородой шурале.

5

Меж тем шарманщик странно поражен
лицом рябым, косицею железной:
чуть голубой, как сабля из ножен,

дворяночкой худой и бесполезной.

Бедняжечка, она несла к венцу
лба узенького детскую прыщавость,
которая была ей так к лицу
и за которую ей всё прощалось.

А далее всё шло само собой:
сближались лица, упали руки,
и в сумерках губернии глухой
старели дети, подрастали внуки.

Церквушкой бедной перекрещена,
упрощена полями да степями,
уже по-русски, ударяя в «а»,
звучит себе фамилия Стопани.

6

О, старина, начало той семьи —
две барышни, чья маленькая повесть
печальная осталась там, вдали,
где ныне пусто, лишь трава по пояс.

То ль итальянца темная печаль,
то ль этой жизни мертвенная скудость

придали вечный холодок плечам,
что шалью не утешить, не окутать.

Как матери влюбленная корысть
над вашей красотой колдовала!
Шарманкой деда вас не укорить,
придавлена приданым кладовая.

Но ваших уст не украшает смех,
и не придать вам радости приданым.
Пребудут в мире ваши жизнь и смерть
недобрым и таинственным преданьем.

Недуг невероятный, для чего
ты озарил своею вспышкой белой
не гения просторное чело,
а двух детей рассудок неумелый?

В какую малость целишь свой прыжок,
словно в Помпею слабую – Везувий?
Не слишком ли огромен твой ожог
для лобика Офелии безумной?

Ученые жить скупы да с умом,
красавицы с огромными глазами
сошли с ума, и милосердный дом
их обряжал и орошал слезами.

Справка об их болезни:

«Справка выдана в том...»

О, как гром в этот дом
бьет огнем и метель колесом колесит.
Ранит голову грохот огромный.

И в тон
там, внизу, голоса голоски клавесин.

О сестра, дай мне льда. Уж пробил и пропел
час полуночи. Льдом заострилась вода.

Остудить моей памяти черный пробел —
дай же, дай же мне белого льда.

Словно мост мой последний, пылает мой мозг,
острый остров сиротства замкнув навсегда.
О Наташа, сестра, мне бы лёд так помог!
Дай же, дай же мне белого льда.

Малый разум мой вырос в огромный мотор,
вкруг себя он вращает людей, городá.
Не распутать мне той карусели моток.
Дай же, дай же мне белого льда.

В пекле казни горю Иоанною д'Арк,
свист зевак, лай собак, а я так молода.

Океан Ледовитый, пошли мне свой дар!
Дай же, дай же мне белого льда!

Справка выдана в том, что чрезмерен был стон
в малом горле.
Но ныне беда —
позабыта.
Земля утешает их сон
милосердием белого льда.

7

Конец столетья. Резкий крен основ.
Волненье. Что там? Выстрел. Мещанина.
Пронзительный русалочий озноб
вдруг потрясает тело мещанина.

Предчувствие серьезной новизны
томит и возбуждает человека.
В тревоге пред-войны и пред-весны,
в тумане вечеряющего века —

мерцает лбом тщеславный гимназист,

и, ширясь там, меж Волгою и Леной,
тот свежий свет так остросеребрист
и так существенен в судьбе Вселенной.

Тем временем Стопани Александр
ведет себя опально и престранно.
Друзей своих он увлекает в сад,
и речь его опасна и пространна.

Он говорит:

– Прекрасен человек,
принявший дар дыхания и зренья.
В его коленях спит грядущий бег
и в разуме живет инстинкт творенья.

Всё для него: ему назначен мёд
земных растений, труд ему угоден.
Но всё ж он бездыханен, слеп и мёртв
до той поры, пока он не свободен.

Пока его хранимый Богом враг
ломает прямизну его коленей
и примеряет шутовской колпак
к его морщинам, выдающим гений,

пока к его дыханию приник
смертельно-душной духотою гбря
железного мундира воротник,
сомкнувшийся вокруг пушкинского горла.

Но всё же он познает торжество
пред вечным правосудием природы.
Уж дерзок он. Стесняет грудь его
желание движенья и свободы.

Пусть завершится зрелостью дерев
младенчество зеленого побега.
Пусть нашу волю обостряет гнев,
а нашу смерть вознаградит победа.

Быть может, этот монолог в саду
неточно я передаю стихами,
но точно то, что в этом же году
был арестован Александр Стопани.

Комментарии жандарма:

Всем, кто бунты разжигал, —
всем студентам
(о стыде-то
не подумают),
жидам,
и певцу, что пел свободу,
и глупцу, что быть собою
обязательно желал, —

всем отвечу я, жандарм,
всем я должное воздам.

Всех, кто смелостью повадок
посягает на порядок
высочайших правд, парадов, —
вольнодумцев неприятных,
а поэтов и подавно, —
я их всех тюрьмой порадную
и засов задвину сам.
В чём клянусь верностью Государю-императору
и здоровьем милых дам.

О, распущенность природы!
Дети в ней – и те пророки,
красок яркие мазки
возбуждают все мозги.
Ликовала, оживала,
напустила в белый свет
леопарда и жирафа,
Леонардо и Джордано,
всё кричит, имеет цвет.
Слава Богу, власть жандарма
всё, что есть, сведет на нет.

(Примечание автора:

Между прочим, тот жандарм
ждал награды, хлеб жевал,
жил неважно, кончил плохо,
не заметила эпоха,
как подох он.

Никто на похороны ни копейки не дал.)

– Знают люди, знают дети:
я – бессмертен. Я – жандарм.
А тебе на этом свете
появиться я не дам.

Как не дам идти дождям,
как не дам, чтобы в народе
помышляли о свободе,
как не дам стоять садам
в бело-розовом восходе...

Каков мерзавец! Пусть болтает вздор,
повелевают вечность и мгновенность —

земле лететь, вершить глубокий вздох
и соблюдать свою закономерность.

Как надобно, ведет себя земля
уже в пределах нового столетья,
и в май маёвок бабушка моя
несет двух глаз огромные соцветья.

Что голосок той девочки твердит,
и плечики на что идут войною?
Над нею вновь смыкается вердикт:
«Виновна ли?» – «Да, тягостно виновна!»

По следу брата, веруя ему,
она вкусила пыль дорог протяжных,
переступала из тюрьмы в тюрьму,
привыкла к монотонности присяжных.

И скоро уж на мужниных щеках
в два солнышка закатится чахотка.
Но есть все основания считать:
она грустит, а всё же ждет чего-то.

В какую даль теперь ее везут
небыстрые подковы Росинанта?

Но по тому, как снег берет на зуб,
как любит, чтоб сверкал и расстился,
я узнаю твой облик, россиянка.

В глазах черно от белого сиянья!
Как холодно! Как лошади несут!

Выходит. Вдруг – мороз ей нов и чужд.
Сугробов белолобые телята
к ладоням льнут. Младенческая чушь
смешит уста. И нежно и чуть-чуть
в ней в полщеки проглянет итальянка,
и в чистой мгле ее лица таятся
движения неведомых причуд.

Всё ждет. И ей – то страшно, то смешно.
И похудела. Смотрит остроносо
куда-то ввысь. Лицо усложнено
всезнающей улыбкой астронома!

В ней сильный пульс играет вкось и вкривь.
Ей всё нужней, всё тяжелей работа.
Мне кажется, что скоро грянет крик
доселе неизвестного ребёнка.

9

Грянь и ты, месяц первый, Октябрь,
на твоём повороте мгновенном
электричеством бьет по локтям

острый угол меж веком и веком.

Узнаю изначальный твой гул,
оглашающий древние своды,
по огромной округлости губ,
называющих имя Свободы.

О, три слога! Рёв сильных широт
отворенной гортани!
Как в красных
и предельных объемах шаров —
тесно воздуху в трёх этих гласных.

Грянь же, грянь, новорожденный крик
той Свободы! Навеки и разом —
распахни треугольный тупик,
образованный каменным рабством.

Подари отпущение мук
тем, что бились о стены и гибли, —
там, в Михайловском, замкнутом в круг,
там, в просторно-угрюмом Египте.

Дай, Свобода, высокий твой верх
видеть, знать в небосводе затихшем,
как бредущий в степи человек
близость звёзд ощущает затылком.

Приближай свою ласку к земле,

совершающей дивную дивность,
навсегда предрешившей во мне
свою боль, и любовь, и родимость.

10

Ну что ж. Уже всё ближе, всё верней
расчёт, что попаду я в эту повесть,
конечно, если появиться в ней
мне Игрека не помешает происк.

Всё непременно чередом идет,
двадцатый век наводит свой порядок,
подрагивает, словно самолёт,
предслыша небо серебром лопаток.

А та, что перламутровым белком
глядит чуть вкось, чуть невпопад и странно,
ступившая, как дети на балкон,
на край любви, на острие пространства,

та, над которой в горлышко, как в горн,
дудит апрель, насытивший скворешник, —
нацеленный в меня, прости ей, гром! —
она мне мать, и перемен скорейших

ей предстоит удача и печаль.

А ты, о Жизнь, мой мальчик-непоседа,
спеши вперед и понукай педаль
открывшего крыла велосипеда.

Пусть роль свою сыграет азиат —
он белокур, как белая ворона,
как гончую, его влечет азарт
по следу, вдаль, и точно в те ворота,

где ждут его, где воспринять должны
двух острых скул опасность и подарок.
Округлое дитя из тишины
появится, как слово из помарок.

1

Я – скоро. Но куда нет меня.
Я – где-то там, в преддверии природы.
Вот-вот окликнут, разрешат – и я
с готовностью возникну на пороге.

Я жду рожденья, я спешу теперь,
как посетитель в тягостной приёмной,
пробить бюрократическую дверь
всем телом – и предстать в её проёме.

Ужо рожусь! Еще не рождена.
Еще не пала вещая щеколда.
Никто не знает, что я – вот она,
темно, смешно. Апчхи! В носу щекотно.

Вот так играют дети, прячась в шкаф,
испытывая радость отдаленья.
Сейчас расхохочусь! Нет сил! И ка-ак
вдруг вывалюсь вам всем на удивленье!

Таюсь, тянусь, претерпеваю рост,
вломлюсь птенцом горячим, косоротым —
ловить губами воздух, словно гроздь,
наполненную спелым кислородом.

Сравнится ль бледный холодок актрис,
трепещущих, что славы не добьются,
с моим волнением среди тех кулис,
в потёмках, за минуту до дебюта!

Еще не знает речи голос мой,
еще не сбылся в лёгких вздох голодный.
Мир наблюдает смутной белизной,
сурово излучаемой галёркой.

(Как я смогу, как я сыграю роль
усильем безрассудства молодого?
О, перейти, превозмогая боль,

от немоты к началу монолога!

Как стеклодув, чьи сильные уста
взрастили дивный плод стекла простого,
играть и знать, что жизнь твоя проста
и выдох твой имеет форму слова.

Иль как печник, что, краснотою труб
замаранный, сидит верхом на доме,
захохотать и ощутить свой труд
блаженною усталостью ладони.

Так пусть же грянет тот театр, тот бой
меж «да» и «нет», небытием и бытом,
где человек обязан быть собой
и каждым нерожденным и убитым.

Своим добром он возместит земле
всех сыновей её, в ней погребенных.
Вершит всевечный свой восход во мгле
огромный, голый, золотой Ребенок.)

Уж выход мой! Мурашками, спиной
предчувствую прыжок свой на арену.
Уже объявлен год тридцать седьмой.
Сейчас, сейчас – дадут звонок к апрелю.

Реплика доброжелателя:

О нечто, крошка, пустота,
ещё не девочка, не мальчик,
ничто, чужого пустяка
пустой и маленький туманчик!

Зачем, неведомый радист,
ты шлешь сигналы пробужденья?
Повремени и не родись,
не попади в беду рожденья.

Нераспрямленный организм,
закрученный кривой пружинкой,
о, образумься и очнись!
Я – умник, много лет проживший, —

я говорю: потом, потом
тебе родиться будет лучше.
А не родишься – что же, в том
всё ж есть свое благополучье.

Помедли двадцать лет хотя б,
утешься беззаботной ленью,
блаженной слепотой котят,
столь равнодушных к утопленью.

Что так не терпится тебе,
и, как птенец в тюрьме скорлупок,
ты спешку точек и тире
все выбиваешь клювом глупым?

Чем плохо там – во тьме пустой,
где нет тебе ни слёз, ни горя?
Куда ты так спешишь? Постой!
Родится что-нибудь другое.

Примечание автора:

Ах, умник! И другое пусть
родится тоже непременно, —
всей музыкой озвучен пульс,
прям позвоночник, как антенна.

Но для чего же мне во вред
ему пройти и стать собою?
Что ж, он займет весь белый свет
своею малой худобою?

Мне отведенный кислород,
которого я жду веками,
неужто он до дна допьёт

один, огромными глотками?

Моих друзей он станет звать
своими? Всё наглей, все дальше
они там будут жить, гулять
и про меня не вспомнят даже?

А мой родимый, верный труд,
в глаза глядящий так тревожно,
чужою властью новых рук
ужели приручить возможно?

Ну, нет! В какой во тьме пустой?
Сам там сиди. Довольно. Дудки.
Наскучив мной, меня в простор
выбрасывают виадуки!

И в солнце, среди синевы
расцветшее, нацелясь мною,
меня спускают с тетивы
стрелюю с тонкою спиною.

Веселый центробежный вихрь
меня из круга вырвать хочет.
О Жизнь, в твою орбиту вник
меня таинственный комочек!

Твой золотой круговорот
так призывает к полнокровью,

словно сладчайший огород,
красно дразнящий рот морковью.

О Жизнь любимая, пускай
потом накажешь всем и смертью,
но только выуди, поймай,
достань меня своею сетью!

Дай выгадать мне белый свет —
одну-единственную пользу!
– Припомнишь, дура, мой совет
когда-нибудь, да будет поздно.

Зачем ты ломишься во вход,
откуда нет освобождения?
Ведь более удачный год
ты сможешь выбрать для рожденья.

Как безопасно, как легко,
вне гнева вѣка или ветра —
не стать. И не принять лицо,
талант и имя человека.

12

Каков мерзавец! Но, средь всех затей,

любой наш год – утешен, обнадёжен
неистовым рождением детей,
мельканьем ножек, пестротой одежек.

И в их великий и всемирный рёв,
захлёбом насыщая древний голод,
гортань прорезав чистым остриём,
вонзился мой, сжегший губы голос!

Пусть вечно он благодарит тебя,
земля, меня исторгшая, родная,
в печаль и в радость, и в трубу трубя,
и в маленькую дудочку играя.

Мне нравится, что Жизнь всегда права,
что празднует в ней вечная повадка —
топырить корни, ставить деревья
и меж ветвей готовить плод подарка.

Пребуду в ней до края, до конца,
а пред концом – воздам благодаренье
всем девочкам, слетающим с крыльца,
всем людям, совершающим творенье.

Что еще вам сказать?

Я не знаю,

И не знаю: я одобрена вами
иль справедливо и бегло охаяна.

Но проносятся пусть надо мной
ваши лица и ваши слова.

Написала всё это Ахмадулина

Белла Ахатовна.

Год рождения – 1937. Место рождения —
город Москва.

1963

Новая тетрадь

Смущаюсь и робею пред листом
бумаги чистой.

Так стоит паломник

у входа в храм.

Пред девичьим лицом

так опытный потупится поклонник.

Как будто школьник, новую тетрадь

я озираю алчно и любовно,

чтобы потом пером её терзать,

марая ради замысла любого.

Чистописанья сладостный урок

недолог. Перевёрнута страница.

Бумаге белой нанесён урон,

бесчинствует мой почерк и срамится.

Так в глубь тетради, словно в глубь лесов,

я безрассудно и навечно кану,

одна среди сияющих листов

неся свою ликующую кару.

Грузинских женщин имена

Там в море паруса плутали,
и, непричастные жару,
медлительно цвели платаны
и осыпались в ноябре.

Мешались гомоны базара,
и обнажала высота
переплетения базальта
и снега яркие цвета.

И лавочка в старинном парке
бела вставала и нема,
и смутно виноградом пахли
грузинских женщин имена.

Они переходили в лепет,
который к морю выбегал
и выплывал, как чёрный лебедь,
и странно шею выгибал.

Смеялась женщина Ламара,
бежала по камням к воде,
и каблучки по ним ломала,
и губы красила в вине.

И мокли волосы Медеи,
вплетаясь утром в водопад,
и капли сохли, и мелели,
и загорались невпопад.

И, заглушая олеандры,
собравши всё в одном цветке,
вitalo имя Ариадны
и растворялось вдалеке.

Едва опершийся на сваи,
там приникал к воде причал.
«Цисана!» – из окошка звали.
«Натэла!» – голос отвечал...

Не уделяй мне много времени...

Не уделяй мне много времени,
вопросов мне не задавай.
Глазами добрыми и верными
руки моей не задевай.

Не проходи весной по лужицам,
по следу следа моего.
Я знаю – снова не получится
из этой встречи ничего.

Ты думаешь, что я из гордости
хожу, с тобою не дружу?
Я не из гордости – из горести
так прямо голову держу.

Снегурочка

Что так Снегурочку тянуло
к тому высокому огню?
Уж лучше б в речке утонула,
попала под ноги коню.

Но голубым своим подолом
вспорхнула – ноженьки видны —
и нет ее. Она подобна
глотку оттаявшей воды.

Как чисто с воздухом смешалась,
и кончилась ее пора.
Играть с огнем – вот наша шалость,
вот наша древняя игра.

Нас цвет оранжевый так тянет,
так нам проходу не дает.
Ему поддавшись, тело тает
и телом быть перестает.

Но пуще мы огонь раскурим
и вовлечём его в игру,
и снова мы собой рискуем
и доверяемся костру.

Вот наш удел ещё невидим,
в дыму ещё неразличим.
То ль из него живыми выйдем,
то ль навсегда сольёмся с ним.

Живут на улице Песчаной...

Живут на улице Песчаной
два человека дорогих.

Я не о них.

Я о печальной
неведомой собаке их.

Эта японская порода
ей так расставила зрачки,
что даже страшно у порога —
как их раздумья глубоки.

То добрый пёс. Но, замирая
и победительно сопя,
надменным взглядом самурая
он сможет защитить себя.

Однажды просто так, без дела
одна пришла я в этот дом,
и на диване я сидела,
и говорила я с трудом.

Уставив глаз свой самоцветный,
всё различавший в тишине,
пёс умудренный семилетний

сидел и думал обо мне.

И голова его мигала.

Он горестный был и седой,
как бы поверженный микадо,
усталый и немолодой.

Зовется Тошкой пёс. Ах, Тошка,
ты понимаешь всё. Ответь,
что мне так совестно и тошно
сидеть и на тебя глядеть?

Всё тонкий нюх твой различает,
угадывает наперёд.
Скажи мне, что нас разлучает
и все ж расстаться не даёт?

По улице моей который год...

По улице моей который год
звучат шаги – мои друзья уходят.
Друзей моих медлительный уход
той темноте за окнами угоден.

Запущены моих друзей дела,
нет в их домах ни музыки, ни пенья,
и лишь, как прежде, девочки Дега
голубенькие оправляют перья.

Ну что ж, ну что ж, да не разбудит страх
вас, беззащитных, среди этой ночи.
К предательству таинственная страсть,
друзья мои, туманит ваши очи.

О одиночество, как твой характер крут!
Посверкивая циркулем железным,
как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным.

Так призови меня и награди!
Твой баловень, обласканный тобою,
утешусь, прислонясь к твоей груди,
умоюсь твоей стужей голубою.

Дай стать на цыпочки в твоём лесу,
на том конце замедленного жеста
найти листву, и поднести к лицу,
и ощутить сиротство, как блаженство.

Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и – мудрая – я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы.

И я познаю мудрость и печаль,
свой тайный смысл доверяют мне предметы.
Природа, прислонясь к моим плечам,
объявит свои детские секреты.

И вот тогда – из слёз, из темноты,
из бедного невежества бывшего
друзей моих прекрасные черты
появятся и растворятся снова.



В тот месяц май, в тот месяц мой
во мне была такая лёгкость,
и, расстилаясь над землёй,
влекла меня погоды лётность.

Я так щедра была, щедра
в счастливом предвкушенье пенья,
и с легкомыслием щегла
я окунала в воздух перья.

Но, слава Богу, стал мой взор
и пронизательней, и строже,
и каждый вздох и каждый взлёт
обходится мне всё дороже.

И я причастна к тайнам дня.
Открыты мне его явления.
Вокруг оглядываюсь я
с усмешкой старого еврея.

Я вижу, как грачи галдят,
над черным снегом нависая,
как скучно женщины глядят,
склонившиеся над вязаньем.

И где-то, в дудочку дудя,
не соблюдая клумб и грядок,
чужое бегаёт дитя
и нарушает их порядок.

Нежность

Так ощутима эта нежность,
вещественных полна примет.
И нежность обретает внешность
и воплощается в предмет.

Старинной вазою зелёной
вдруг станет на краю стола,
и ты склонишься удивлённый
над чистым омутом стекла.

Встревожится квартира ваша,
и будут все поражены.
— Откуда появилась ваза? —
ты строго спросишь у жены. —

И антиквар какую плату
спросил? —
О, не кори жену —
то просто я смеюсь и плачу
и в отдалении живу.

И слезы мои так стеклянны,
так их паденья тяжелы,

они звенят, как бы стаканы,
разбитые среди тишины.

За то, что мне тебя не видно,
а видно – так на полчаса,
я безобидно и невинно
свершаю эти чудеса.

Вдруг облаком тебя покроет,
как в горных высях повелось.
Ты закричишь: – Мне нет покою!
Откуда облако взялось?

Но суеверно, как крестьянин,
не бойся, «чур» не говори,
то нежности моей кристаллы
осели на плечи твои.

Я так немудрено и нежно
наколдовала в стороне,
и вот образовалось нечто,
напоминая обо мне.

Но по привычке добрых бестий,
опять играя в эту власть,
я сохраню тебя от бедствий
и тем себя утешу всласть.

Прощай! И занимайся делом!

Забудется игра моя.

Но сказки твоим малым детям
останутся после меня.

Несмеяна

Так и сижу – царица Несмеяна,
ем яблоки, и яблоки горчат.
– Царица, отвори нам! Нам немало! —
под окнами прохожие кричат.

Они глядят глазами голубыми
и в горницу являются гурьбой,
здороваются, кланяются, имя
«Царевич» говорят наперебой.

Стоят и похваляются богатством,
проходят, златом-серебром звеня.
Но вам своим богатством и бахвальством,
царевичи, не рассмешить меня.

Как ум моих царевичей напрягся,
стараясь ради красного словца!
Но и сама слышу я не напрасно
глупей глупца, мудрее мудреца.

Кричат они: – Какой верна присяге,
царица, ты – в суровости своей? —
Я говорю: – Царевичи, присядьте.
Царевичи, по стойте у дверей.

Зачем кафтаны новые надели
и шапки примеряли к головам?
На той неделе, о, на той неделе —
смеялась я, как не смеяться вам.

Входил он в эти низкие хоромы,
сам из татар, гулявших по Руси,
и я кричала: «Здравствуй, мой хороший!
Вина отведай, хлебом закуси».

– А кто он был? Богат он или беден?
В какой он проживает стороне? —
Смеялась я: – Богат он или беден,
румян иль бледен – не припомнить мне.

Никто не покарает, не измерит
вины его. Не вышло ни черта.
И все же он, гуляка и изменник,
не вам чета. Нет. Он не вам чета.

Мотороллер

Завиден мне полёт твоих колес,
о мотороллер розового цвета!
Слежу за ним, не унимая слёз,
что льют без повода в начале лета.

И девочке, припавшей к седоку
с ликующей и гибельной улыбкой,
кажусь я приникающей к листку,
согбенной и медлительной улиткой.

Прощай! Твой путь лежит поверх меня
и меркнет там, в зелёных отдаленьях.
Две радуги, два неба, два огня,
бесстыдница, горят в твоих коленях.

И тело твоё светится сквозь плащ,
как стебель тонкий сквозь стекло и воду.
Вдруг из меня какой-то странный плач
выпархивает, пискнув, на свободу.

Так слабенький твой голосок поёт,
и песенки мотив так прост и вечен.
Но, видишь ли, весёлый твой полёт
недвижностью моей уравновешен.

Затем твои качели высоки
и не опасно головокруженье,
что по другую сторону доски
я делаю обратное движенье.

Пока ко мне нисходит тишина,
твой шум летит в лужайках отдалённых.
Пока моя походка тяжела,
подъемлешь ты два крылышка зелёных.

Так проносись! – покуда я стою.
Так лепечи! – покуда я немею.
Всю лёгкость поднебесную твою
я искупаю тяжестью своею.

Влечёт меня старинный слог...

Влечёт меня старинный слог,
Есть обаянье в древней речи.
Она бывает наших слов
и современнее и резче.

Вскричать: «Полцарства за коня!» —
какая вспылчивость и щедрость!
Но снизойдёт и на меня
последнего задора тщетность.

Когда-нибудь очнусь во мгле,
навек проиграв сраженье,
и вот придёт на память мне
безумца древнего решенье.

О, что полцарства для меня!
Дитя, наученное веком,
возьму коня, отдам коня
за полмгновенья с человеком,

любимым мною. Бог с тобой,
о конь мой, конь мой, конь ретивый.
Я безвозмездно повод твой
ослаблю – и табун родимый

нагонишь ты, нагонишь там,
в степи пустой и порыжелой.
А мне наскучил тарарам
этих побед и поражений.

Мне жаль коня! Мне жаль любви!
И на манер средневековый
ложится под ноги мои
лишь след, оставленный подковой.

Светофоры

Геннадию Хазанову

Светофоры. И я перед ними
становлюсь, отступаю назад.
Светофор. Это странное имя.
Светофор. Святослав. Светозар.

Светофоры добры, как славяне.
Мне в лицо устремляют огни
и огнями, как будто словами,
умоляют: «Постой, не гони».

Благодарна я им за смещение
этих двух разноцветных огней,
но во мне происходит смещение
этих двух разноцветных кровей.

О, извечно гудел и сливался,
о, извечно бесчинствовал спор:
этот добрый рассудок славянский
и косою азиатский напор.

Видно, выход – в движенье, в движенье,
в голове, наклонённой к рулю,

в бесшабашном головокруженье
у обочины на краю.

И, откидываясь на сиденье,
говорю себе: «Погоди».
Отдаю себя на съеденье
этой скорости впереди.

СНЫ о Грузии

Сны о Грузии – вот радость!
И под утро так чиста
виноградовая сладость,
осенявшая уста.
Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу —
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть.
Пусть всегда мне будут в новость
и колдуют надо мной
родины родной суровость,
нежность родины чужой.

Свеча

Геннадию Шпаликову

Всего-то – чтоб была свеча,
свеча простая, восковая,
и старомодность вековая
так станет в памяти свежа.

И поспешит твоё перо
к той грамоте витиеватой,
разумной и замысловатой,
и ляжет на душу добро.

Уже ты мыслишь о друзьях
все чаще, способом старинным,
и сталактитом стеариным
займёшься с нежностью в глазах.

И Пушкин ласково глядит,
и ночь прошла, и гаснут свечи,
и нежный вкус родимой речи
так чисто губы холодит.

Магнитофон

В той комнате под чердаком,
в той нищенской, в той суверенной,
где старомодным чудаком
задор владеет современный,

где вокруг нечистого стола,
среди беды претенциозной,
капроновые два крыла
проносит ангел грациозный, —

в той комнате, в тиши ночной,
во глубине магнитофона,
уже не защищённый мной,
мой голос плачет отвлечённо.

Я знаю – там, пока я сплю,
жестокий медиум колдует
и душу слабую мою
то жжет, как свечку, то задует.

И гоголевской Катериной
в зелёном облаке окна
танцует голосок старинный
для развлечения колдуна.

Он так испуганно и кротко
является чужим очам,
как будто девочка-сиротка,
запроданная циркачам.

Мой голос, близкий мне досель,
воспитанный моей гортанью,
лукавящий на каждом «эль»,
невнятно склонный к заиканью,

возникший некогда во мне,
моим губам еще родимый,
вспорхнув, остался в стороне,
как будто вздох необратимый.

Одет бесплотной наготой,
изведавший ее приятность,
уж он вкусил свободы той
бесстыдство и невероятность.

И в эту ночь там, из угла,
старик к нему взывает снова,
в застиранные два крыла
целуя ангела ручного.

Над их объятием дурным
магнитофон во тьме хлопочет,
мой бедный голос пятки им

прозрачным пальчиком щекочет.

Пока я сплю, злорадству их
он кажет нежные изьяны
картавости – и снов моих
нецеломудренны туманы.

Прощание

А напоследок я скажу:
прощай, любить не обязуйся.
С ума схожу. Иль восхожу
к высокой степени безумства.

Как ты любил? – ты пригубил
погибели. Не в этом дело.
Как ты любил? – ты погубил,
но погубил так неумело.

Жестокость промаха... О, нет
тебе прощенья. Живо тело,
и бродит, видит белый свет,
но тело мое опустело.

Работу малую висок
еще вершит. Но пали руки,
и стайкою, наискосок,
уходят запахи и звуки.

Пейзаж

Ещё ноябрь, а благодать
уж сыплется, уж смотрит с неба.
Иду и хоронюсь от света,
чтоб тенью снег не утруждать.

О стеклодув, что смысл дутья
так выразил в сосульках этих!
И, запрокинув свой беретик,
на вкус их пробует дитя.

И я, такая молодая,
со сладкой льдинкою во рту,
оскальзываясь, приседая,
по снегу белому иду.

Зима

О жест зимы ко мне,
холодный и прилежный.
Да, что-то есть в зиме
от медицины нежной.

Иначе как же вдруг
из темноты и муки
доверчивый недуг
к ней обращает руки?

О милая, колдуй,
заденет лоб мой снова
целебный поцелуй
колечка ледяного.

И всё сильней соблазн
встречать обман доверьем,
смотреть в глаза собак
и приникать к деревьям.

Прощать, как бы играть,
с разбега, с поворота,
и, завершив, прощать,
простить еще кого-то.

Сравняться с зимним днём,
с его пустым овалом,
и быть всегда при нём
его оттенком малым.

Свести себя на нет,
чтоб вызвать за стеною
не тень мою, а свет,
не заслонённый мною.

Случилось так, что двадцати семи...

Случилось так, что двадцати семи
лет от роду мне выпала отрада
жить в замкнутости дома и семьи,
расширенной прекрасным кругом сада.

Себя я предоставила добру,
с которым справедливая природа
следит за увяданием в бору
или решает участь огорода.

Мне нравилось забыть печаль и гнев,
не ведать мысли, не промолвить слова
и в детском неразумии дерев
терпеть заботу гения чужого.

Я стала вдруг здорова, как трава,
чиста душой, как прочие растенья,
не более умна, чем дерева,
не более жива, чем до рожденья.

Я улыбалась ночью в потолок,
в пустой пробел, где близко и приметно
белел во мраке очевидный Бог,

имевший цель улыбки и привета.

Была так неизбежна благодать
и так близка большая ласка Бога,
что прядь со лба – чтоб легче целовать —
я убирала и спала глубоко.

Как будто бы надолго, на века,
я углублялась в землю и деревья.
Никто не знал, как мука велика
за дверью моего уединенья.

Тоска по Лермонтову

О Грузия, лишь по твоей вине,
когда зима грязна и белоснежна,
печаль моя печальна не вполне,
не до конца надежда безнадежна.

Одну тебя я счастливо люблю,
и лишь твоё лицо не лицемерно.
Рука твоя на голову мою
ложится благосклонно и целебно.

Мне не застать врасплох твоей любви.
Открытыми объятия ты держишь.
Все говоры, все шёпоты твои
мне на ухо нашепчешь и утетишь.

Но в этот день не так я молода,
чтоб выбирать меж севером и югом.
Свершилась поздней осени беда,
былой уют украсив неуютом.

Лишь чёрный зонт в моих руках гремит,
живой упругий мускул в нём напрягся.
То, что тебя покинуть норовит, —
пускай покинет, что держать напрасно.

Я отпускаю зонт и не смотрю,
как будет он использовать свободу.
Я медленно иду по октябрю,
сквозь воду и холодную погоду.

В чужом доме, не знаю почему,
я бег моих колен остановила.
Вы пробовали жить в чужом доме?
Там хорошо. И вот как это было.

Был подвиг одиночества свершён,
и я могла уйти. Но так случилось,
что в этом доме, в ванной, жил сверчок,
поскрипывал, оказывал мне милость.

Моя душа тогда была слаба
и потому – с доверьем и тоскою —
тот слабый скрип, той песенки слова
я полюбила слабою душою.

Привыкла вскоре добрая семья,
что так, друг друга не опровергая,
два пустяка природы – он и я —
живут тихонько, песенки слагая.

Итак – я здесь. Мы по ночам не спим,
я запою – он отвечать умеет.
Ну, хорошо. А где же снам моим,

где им-то жить? Где их бездомность реет?

Они все там же, там, где я была,
где высочайший юноша вселенной
меж туч и солнца, меж добра и зла
стоял вверху горы уединенной.

О, там, под покровительством горы,
как в медленном недоуменье танца,
течения Арагвы и Куры
ни встретиться не могут, ни расстаться.

Внизу так чист, так мрачен Мцхетский храм.
Души его воинственна молитва.
В ней гром мечей, и лошадиный храп,
и вечная за эту землю битва.

Где он стоял? Вот здесь, где монастырь
еще живет всей свежестью размаха,
где малый камень с лёгкостью вместили
великую тоску того монаха.

Что, мальчик мой, великий человек?
Что сделал ты, чтобы воскреснуть болью
в моём мозгу и чернотой меж век,
всё плачущей над маленьким тобою?

И в этой, Богом замкнутой судьбе,
в своей нижайшей муке превосходства,

хотя б сверчок любимому, тебе,
сверчок играл средь твоего сиротства?

Стой на горе! Не уходи туда,
где – только-то! – через четыре года
сомкнётся над тобою навсегда
пустая, совершенная свобода!

Стой на горе! Я по твоим следам
найду тебя под солнцем, возле Мцхета.
Возьму себе всем зреньем, не отдам,
и ты спасён уже, и вечно это.

Стой на горе! Но чем к тебе добрей
чужой земли таинственная новость,
тем яростней соблазн земли твоей,
нужней ее сладчайшая суровость.

Зимняя замкнутость

Булату Окуджаве

Странный гость побывал у меня в феврале.
Снег занёс мою крышу ещё в январе,
предоставив мне замкнутость дум и деяний.
Я жила взаперти, как огонь в фонаре
или как насекомое, что в янтаре
уместилось в простор тесноты идеальной.

Странный гость предо мною внезапно возник,
и тем более странен был этот визит,
что снега мою дверь охраняли сурово.
Например – я зерно моим птицам несла.
«Можно ль выйти наружу?» – спросила. —
«Нельзя», —
мне ответила сильная воля сугроба.

Странный гость, говорю вам, неведомый гость.
Он прошёл через стенку насквозь, словно гвоздь,
кем-то вбитый извне для неведомой цели.
Впрочем, что же ещё оставалось ему,
коль в дому, замурованном в снежную тьму,
не осталось для входа ни двери, ни щели.

Странный гость – он в гостях не гостил, а царил.
Он огнем исцелил свой промокший цилиндр,
из-за пазухи выпустил свинку морскую
и сказал: «О, пардон, я продрог, и притом
я ушибся, когда проходил напролом
в этот дом, где теперь простудиться рискую».

Я сказала: «Огонь вас утешит, о гость.
Горсть орехов, вина быстротечная гроздь —
вот мой маленький юг среди выюг справедливых.
Что касается бедной царевны морей —
ей давно приготовлен любовью моей
плод капусты, возвращенный в нездешних заливах».

Странный гость похвалился: «Заметьте, мадам,
что я склонен к слезам, но не склонны к следам
мои ноги промокшие. Весь я – загадка!»
Я ему объяснила, что я не педант
и за музыкой я не хожу по пятам,
чтобы видеть педаль под ногой музыканта.

Странный гость закричал: «Мне не нравится тон
ваших шуток! Потом будет жуток ваш стон!
Очень плохи дела ваших духа и плоти!
Потому без стыда я явился сюда,
что мне ведома бедная ваша судьба».
Я спросила его: «Почему вы не пьете?»

Странный гость не побрезговал выпить вина.

Опрометчивость уст его речи свела
лишь к ошибкам, улыбкам и доброму плачу:
«Протяжение спора угодно душе!
Вы – дитя мое, баловень и протеже.
Я судьбу вашу как-нибудь переиначу.

Ведь не зря вещей зверь чистой шерстью белел —
ошибитесь, возьмите счастливый билет!
Выбирайте любую утеху мирскую!»
Поклонилась я гостю: «Вы очень добры,
до поры отвергаю я ваши дары.
Но спасите прекрасную свинку морскую!

Не она ль мне по злему сиротству сестра?
Как остра эта грусть – озираться со сна
среди стихии чужой, а к своей не пробиться.
О, как нежно марина, моряна, моря
неизбежно манят и минуют меня,
оставляя мне детское зренье провидца.

В остальном – благодарна я доброй судьбе.
Я живу, как желаю, – сама по себе.
Бог ко мне справедлив и любезен издатель.
Старый пёс мой взмывает к щеке, как щенок.
И широк дивный выбор всевышних щедрот:
ямб, хорей, амфибрахий, анапест и дактиль.

А вчера колокольчик в полях дребезжал.
Это старый товарищ ко мне приезжал.

Зря боялась – а вдруг он дороги не сыщет?
Говорила: когда тебя вижу, Булат,
два зрачка от чрезмерности зренья болят,
беспорядок любви в моем разуме свищет».

Странный гость засмеялся. Он знал, что я лгу.
Не бывало саней в этом сиром снегу.
Мой товарищ с товарищем пьёт в Ленинграде.
И давно уж собака моя умерла —
стало меньше дыханьем в груди у меня.
И чураются руки пера и тетради.

Странный гость подтвердил: «Вы несчастны теперь».
В это время открылась закрытая дверь.
Снег все падал и падал, не зная убытка.
Сколь вошедшего облик был смел и пригож!
И влекла петербургская кожа калош
след – лукавый и резвый, как будто улыбка.

Я надеюсь, что гость мой поймет и зачтёт,
как во мраке лица серебрился зрачок,
как был рус африканец и смугл россиянин?
Я подумала – скоро конец февралю —
и сказала вошедшему: «Радость! Люблю!
Хорошо, что меж нами не быть расставаньям!»

Ночь

Андрею Смирнову

Уже рассвет темнеет с трёх сторон,
а все руке недостаёт отваги,
чтобы пробиться к белизне бумаги
сквозь воздух, затвердевший над столом.

Как непреклонно честный разум мой
стыдится своего несовершенства,
не допускает руку до блаженства
затеять ямб в беспечности былой!

Меж тем, когда полна значенья тьма,
ожог во лбу от выдумки неточной,
мощь кофеина и азарт полночный
легко принять за остроту ума.

Но, видно, впрямь велик и неведим
рассудок мой в безумье этих бдений,
раз возбужденье, жаркое, как гений,
он всё ж не счёл достоинством своим.

Ужель грешно своей беды не знать!
Соблазн так сладок, так невинна малость —

нарушить этой ночи безымянность
и все, что в ней, по имени назвать.

Пока руке бездействовать велю,
любой предмет глядит с кокетством женским,
красуется, следит за каждым жестом,
нацеленным ему воздать хвалу.

Уверенный, что мной уже любим,
бубнит и клянчит голосок предмета,
его душа желает быть воспета,
и непременно голосом моим.

Как я хочу благодарить свечу,
любимый свет ее предать огласке
и предоставить неусыпной ласке
эпитетов! Но я опять молчу.

Какая боль – под пыткой немоты
всё ж не признаться ни единым словом
в красе всего, на что зрачком суровым
любовь моя глядит из темноты!

Чего стыжусь? Зачем я не вольна
в пустом дому, среди снежного разлива,
писать не хорошо, но справедливо —
про дом, про снег, про синеву окна?

Не дай мне Бог бесстыдства пред листом

бумаги, беззащитной предо мною,
пред ясной и бесхитростной свечою,
перед моим, плывущим в сон, лицом.

Слово

«Претерпевая медленную юность,
впадаю я то в дерзость, то в угрюмость,
пишу стихи, мне говорят: порви!
А вы так просто говорите слово,
вас любит ямб, и жизнь к вам благосклонна», —
так написал мне мальчик из Перми.

В чужих потемках выключатель шаря,
хозяевам вслепую спать мешая,
о воздух спотыкаясь, как о пень,
стыдясь своей громоздкой неудачи,
над каждой книгой обмирая в плаче,
я вспомнила про мальчика и Пермь.

И впрямь – в Перми живёт ребёнок странный,
владеющий высокой и пространной,
невнятной речью, и, когда горит
огонь созвездий, принятых над Пермью,
озябшим горлом, не способным к пенью,
ребенок этот слово говорит.

Как говорит ребёнок! Неужели
во мне иль в ком-то, в неживом ущелье
гортани, погружённой в темноту,

была такая чистота проёма,
чтоб уместить во всей красе объёма
всезнающего слова полноту?

О нет, во мне – то всхлип, то хрип, и снова
насущенный шум, занявший место слова
там, в легких, где теснятся дым и тень,
и шее не хватает мощи бычьей,
чтобы дыханья суетный обычай
вершить было не трудно и не лень.

Звук немоты, железный и корявый,
терзает горло ссадиной кровавой,
заговорю – и обагрю платок.

В безмолвие, как в землю, погребённой,
мне странно знать, что есть в Перми ребёнок,
который слово выговорить мог.

Немота

Кто же был так силён и умён?
Кто мой голос из горла увел?
Не умеет заплакать о нём
рана черная в горле моём.

Сколь достойны любви и хвалы,
март, простые деянья твои,
но мертвы моих слов соловьи,
и теперь их сады – словари.

– О, воспой! – умоляют уста
снегопада, обрыва, куста.
Я кричу, но, как пар изо рта,
округлилась у губ немота.

Задыхаюсь, идохну, и лгу,
что ещё не останусь в долгу
пред красою деревьев в снегу,
о которой сказать не могу.

Вдохновенье – чрезмерный, сплошной
вдох мгновенья душою немой,
не спасёт ее выдох иной,
кроме слова, что сказано мной.

Облегчить переполненный пульс —
как угодно, нечаянно, пусть!
И во всё, что воспеть тороплюсь,
воплощусь навсегда, наизусть.

А за то, что была так нема,
и любила всех слов имена,
и устала вдруг, как умерла, —
сами, сами воспойте меня.

Сумерки

Есть в сумерках блаженная свобода
от явных чисел века, года, дня.
Когда? – неважно. Вот открытость входа
в глубокий парк, в далёкий мельк огня.

Ни в сырости, насытившей соцветья,
ни в деревьях, исполненных любви,
нет доказательств этого столетья, —
бери себе другое – и живи.

Ошибкой зренья, заблуждением духа
возвращена в аллее старины,
бреду по ним. И встречная старуха,
словно признав, глядит со стороны.

Средь бела дня пустынно это место.
Но в сумерках мои глаза вольны
увидеть дом, где счастливо семейство,
где невпопад и пылко влюблены,

где вечно ждут гостей на именины —
шуметь, краснеть и руки целовать,
где и меня к себе рукой манили,
где никогда мне гостем не бывать.

Но коль дано их голосам беспечным
стать тишиною неба и воды, —
чьи пальчики по клавишам лепечут? —
Чьи кружева вступают в круг беды?

Как мне досталась милость их привета,
тот медленный, затеянный людьми,
старинный вальс, старинная примета
чужой печали и чужой любви?

Ещё возможно для ума и слуха
вести игру, где действуют река,
пустое поле, дерево, старуха,
деревня в три незрячих огонька.

Души моей невнятная улыбка
блуждает там, в беспамятстве, вдали,
в той родине, чья странная ошибка
даст мне чужбину речи и земли.

Но темнотой испуганный рассудок
трезвеет, рыщет, снова хочет знать
живых вещей отчетливый рисунок,
мой век, мой час, мой стол, мою кровать.

Еще плутая в омуте росистом,
я слышу, как на диком языке
мне шлёт свое проклятие транзистор,

зажатый в непреклонном кулаке.

Уроки музыки

Люблю, Марина, что тебя, как всех,
что, как меня, —
озябшею гортанью
не говорю: тебя – как свет! как снег! —
усильем шеи, будто лёд глотаю,
стараюсь вымолвить: тебя, как всех,
учили музыке. (О крах ученья!
Как если бы, под Богов плач и смех,
свече внушали правила свеченья.)

Не ладили две равных темноты:
рояль и ты – два совершенных круга,
в тоске взаимной глухонемоты
терпя иноязычие друг друга.

Два мрачных исподлбья сведены
в неразрешимой и враждебной встрече:
рояль и ты – две сильных тишины,
два слабых горла музыки и речи.

Но твоего сиротства перевес
решает дело. Что рояль? Он узник
безгласности, покуда в до диез
мизинец свой не окунет союзник.

А ты – одна. Тебе – подмоги нет.
И музыке трудна твоя наука —
не утруждая ранящий предмет,
открыть в себе кровотоечение звука.

Марина, до! До – детства, до – судьбы,
до – ре, до – речи, до – всего, что после,
равно, как вместе мы склоняли лбы
в той общедетской предрояльной позе,
как ты, как ты, вцепившись в табурет, —
о карусель и Гедике ненужность! —
раскручивать сорвавшую берет,
свистящую вокруг головы окружность.

Марина, это всё – для красоты
придуманно, в расчете на удачу
раз накричаться: я – как ты, как ты!
И с радостью бы крикнула, да – плачу.

Четверть века, Марина, тому...

Четверть века, Марина, тому,
как Елабуга ластится раем
к отдохнувшему лбу твоему,
но и рай ему мал и неравен.

Неужели к всеведенью мук,
что тебе удалось как удача,
я добавлю бесформенный звук
дважды мною пропетого плача.

Две бессмыслицы – мёртв и мертва,
две пустынности, два ударенья —
царскосельских садов дерева,
перделкинских рощиц дерева.

И усилием двух этих кончин
так исчерпана будущность слова.
Не осталось ни уст, ни причин,
чтобы нам затевать его снова.

Впрочем, в этой утрате суда
есть свобода и есть безмятежность:
перед кем пламенеть от стыда,
оскорбляя страниц белоснежность?

Как любила! Возможно ли злей?
Без прощения, без обещанья
имена их любовью твоей
были сосланы в даль обожанья.

Среди всех твоих бед и плетей
только два тебе есть утешенья:
что не знала двух этих смертей
и воспела два этих рожденья.

Биографическая справка

Всё началось далёкою порой,
в младенчестве, в его начальном классе,
с игры в многозначительную роль:
быть Мусею, любимой меньше Аси.

Бегом, в Тарусе, босиком, в росе,
без промаха – непоправимо мимо,
чтоб стать любимой менее, чем все,
чем всё, что в этом мире не любимо.

Да и за что любить её, кому?
Полюбит ли мышинный сброд умишек
то чудище, несущее во тьму
всеведенья уродливый излишек?

И тот изящный звездочёт искусств
и счетовод безумств витиеватых
не зря не любит излученье уст,
пока ещё ни в чем не виноватых.

Мила ль ему незванная звезда,
чей голосок, нечаянно, могучий,
его освобождает от труда
старательно содеянных созвучий?

В приют ее – меж грязью и меж льдом!
Но в граде чернокаменном, голодном,
что делать с этим неуместным лбом?
Где быть ему, как не на месте лобном?

Добывшая двугорбием ума
тоску и непомерность превосходства,
она насквозь минует терема
всемирного бездомья и сиротства.

Любая милосердная сестра
жестокосердно примирится с горем,
с избытком рокового мастерства —
во что бы то ни стало быть изгоем.

Ты перед ней не виноват, Берлин!
Ты гнал её, как принято, как надо,
но мрак твоих обоев и белил
еще не ад, а лишь предместье ада.

Не обессудь, божественный Париж,
с надменностью ты целовал ей руки,
но всё же был лишь захолустьем крыш,
провинцией её державной муки.

Тягаться ль вам, селения беды,
с непревзойдённым бедствием столицы,
где рыщет Марс над плесенью воды,

тревожа тень кавалерист-девицы?

Затмивший золотые города,
чернеет двор последнего страданья,
где так она нища и голодна,
как в высшем средоточье мирозданья.

Хвала и предпочтение молвы
Елабуге, пред прочею землёю.
Кунсткамерное чудо головы
изловлено и схвачено петлёю.

Всего-то было – горло и рука,
в пути меж ними станет звук строкою,
и смертный час – не больше, чем строка:
всё тот же труд меж горлом и рукою.

Но ждать так долго! Отгибая прядь,
поглядывать зрачком – красна ль рябина,
и целый август вытерпеть? О, впрямь
ты – сильное чудовище, Марина.

Клянусь

Тем летним снимком на крыльце чужом
как виселица, криво и отдельно
поставленном, не приводящем в дом,
но выводящим из дому. Одета

в неистовый сатиновый доспех,
стесняющий огромный мускул горла,
так и сидишь, уже отбив, допев
труд лошадиный голода и горя.

Тем снимком. Слабым остриём локтей
ребенка с удивлённою улыбкой,
которой смерть влечёт к себе детей
и украшает их черты уликой.

Тяжёлой болью памяти к тебе,
когда, хлебая безвоздушность горя,
от задыхания твоих тире
до крови я откашливала горло.

Присутствием твоим: крала, несла,
брала себе тебя и воровала,
забыв, что ты – чужое, ты – нельзя,
ты – Богово, тебя у Бога мало.

Последней исхудалостию той,
добившею тебя крысиным зубом.
Благословенной родиной святой,
забывшею тебя в сиротстве грубом.

Возлюбленным тобою не к добру
вседобрым африканцем небывалым,
который созерцает детвору.
И детворою. И Тверским бульваром.

Твоим печальным отдыхом в раю,
где нет тебе ни ремесла, ни муки, —
клянусь убить елабугу твою,
Елабугой твоей, чтоб спали внуки,

старухи будут их страшать в ночи,
что нет её, что нет её, не зная:
«Спи, мальчик или девочка, молчи,
ужо придет елабуга слепая».

О, как она всей путаницей ног.
припустится ползти, так скоро, скоро.
Я опущу подкованный сапог
на щупальца её без приговора.

Утяжелив собой каблук, носок,
в затылок ей – и продержат подольше.
Детёнышей её зеленый сок

мне острым ядом опалит подошвы.

В хвосте ее созревшее яйцо
я брошу в землю, раз земля бездонна,
ни словом не обмолвясь про крыльцо
Марининового смертного бездомья.

И в этом я клянусь. Пока во тьме,
зловоньем ила, жабами колодца,
примеривая желтый глаз ко мне,
убить меня елабуга клянется.

Снегопад

Булату Окуджаве

Снегопад свое действие начал
и ещё до свершения тьмы
Переделкино переиначил
в безымянную прелесть зимы.

Дома творчества дикую кличку
он отринул и вытер с доски
и возвысил в полях электричку
до всемирного звука тоски.

Обманувши сады, огороды,
их ничтожный размер одолев,
возымела значенье природы
невеликая сумма деревьев.

На горе, в тишине совершенной,
голос древнего пеня возник,
и уже не селá, а вселенной
ты участник и бедный должник.

Вдалеке, меж звездой и дорогой,
сам дивясь, что он здесь и таков,

пролетел лучезарно здоровый
и ликующий лыжник снегов.

Вездесущая сила движенья,
этот лыжник, земля и луна —
лишь причина для стихосложенья,
для мгновенной удачи ума.

Но, пока в снегопаданье строгом
ясен разум и воля свежа,
в промежутке меж звуком и словом
опроектировано медлит душа.

Метель

Борису Пастернаку

Февраль – любовь и гнев погоды.
И, странно воссияв окрест,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.